

Р 2007

361 к



ЕРБОЛДУЖКАЯ ОСЕҢ

Ербол ЖУМАТУЛОВ

ЕРБОЛДИЖСКАЯ ОСЕЖЬ

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ

«Елорда»
Астана – 2006

ББК 84 (5 Каз-рус) 7-5
Ж 88

ПО ЗАКАЗУ КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ж 88 Жумагулов Е. Ерболдинская осень.
– Астана: Елорда, 2006. – 136 с.

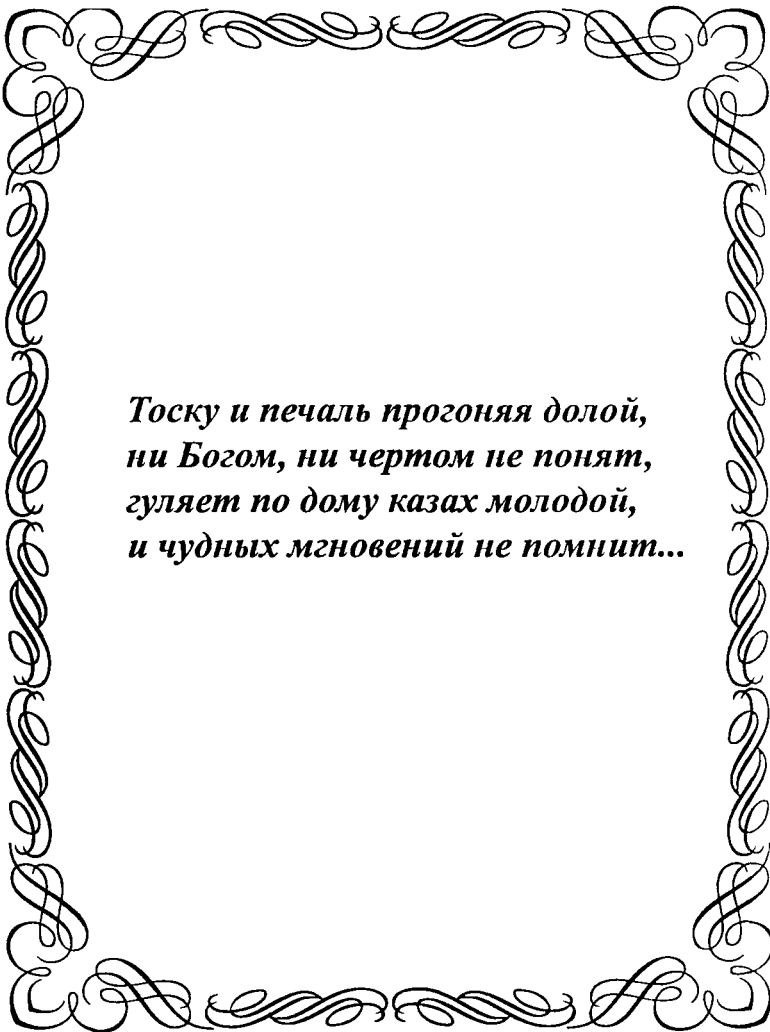
ISBN 9965-06-442-3

Ж $\frac{4702250202 - 391}{00(05) - 06}$

ББК 84 (5 Каз-рус) 7-5

ISBN 9965-06-442-3

© Жумагулов Е., 2006
© «Елорда», 2006

A decorative border with a repeating scroll pattern surrounds the text.

*Тоску и печаль прогоняя долой,
ни Богом, ни чертом не понят,
гуляет по дому казах молодой,
и чудных мгновений не помнит...*

Он начал так, как подобает начинать гению. Или претенденту на эту роль, давно в русской поэзии вакантную, то есть, с дерзости. И с дерзостей: мол, «Ерболдинская осень» или «Ербол в России – больше, чем поэт». С вызывающей уверенностью в своей правоте. И в своих правах: мол, «мои творческие притязания неумеренные, занимаюсь всеми жанрами литературы – от поэзии до драматургии и экспериментальной эссеистики». С «вызываю огонь на себя». И ведь, таки да, вызвал. Во всяком случае, в Сети и литературных клубах о Ерболе Жумагулове сегодня спорят чаще и ожесточеннее, – чем о ком-либо из новичков. Спорили бы, наверное, меньше, будь его стратегия более осмотрительнее, а стихи более ровными. Но они – неровные. И тоже вызывающе с провалами вкуса, с не знающей удержу словоохотливостью, с агрессивным драйвом, когда, напротив, следовало бы остановиться, оглянуться. Впрочем, он, похоже, уже учится оглядываться. И вглядываться – в самого себя, в законный мир, в русское слово. Тогда стихи случаются не только интересными, но и настоящими. Пока редко, но уже случаются. И я, признаюсь, совсем не уверен в его гениальности: «О, сколько их сорвалось в эту бездну, разверстую вдали»... Но масштаб притязаний – цену. И ценю безусловную одаренность. Так что шанс есть. И есть смысл не только спорить о стихах Ербола Жумагулова, но и читать их. Вот и читайте.

Сергей ЧУПРИНИН, «Знамя» (Москва)

Ербол Жумагулов – человек бесспорного поэтического таланта, и я с надеждой буду ждать его полной реализации.

Алексей ЦВЕТКОВ (Прага)

Кочевое странствие юного казахского номада Ербола Жумагулова привело его в запредельный град русской поэзии, в те пространства неутоленного, взыскующего духа, где вершится глубинная история и судьба России, а, может быть, и всего мира. Старые слова зажили у Ербола новой жизнью в тот момент, когда иссякла имперская мощь и оскудела народ-

ная речь. Когда оказалось, что нас может связать лишь одно, но главное: верность культурной памяти, ее нерву и боли – русской словесности, являющейся на своих вершинах общим достоянием человечества и одним из его, человечества, духовных максимумов.

У Жумагулова везде туго натянута нить исповедальной и молитвенной связи. Он вписался именно туда, где поэтическое слово становится миссией и граничит с бытием. Такое слово неподвластно закону исторического тления или гибели.

В новом веке снова поэт побеждает ошибку общей участи. Точка правится на запятую. Это еще его и уже мое – беззащитность зова, обращенного к живым небесам, печать отщепенства на лбу, трудная участь нелегала в равнодушной (а иной раз и беспощадной) Москве и гражданина вечности в безъязыкой, бездарной эпохе.

Евгений ЕРМОЛИН, «Континент» (Москва – Ярославль)

Окна моей квартиры выходят на помойку. Я часто вижу, как стайки голубей то и дело вспархивают над кучами разноцветного мусора. Мусор этот убирают все реже, с каждым годом он отвоевывает все больше территории. Такими темпами он скоро забросает собой весь двор.

Жумагулов невыносим. Как невыносимы были Байрон, Лермонтов или Бродский. Но я люблю его стихи. Они отвлекают меня от выгладываний в окно.

Ерлан ЕРЕЖЕПОВ (Алматы)

Ербол Жумагулов – поэт, несомненно, подлинный, отражающий в стихах свою живую, иногда мятушуюся, иногда насмешливую душу. Он современен, но отчетливо понимает, как важно усвоить опыт предыдущих поколений. Даже в игре он искренен, ибо игра – одно из существенных свойств его дара. От души приветствую выход его второй книги и буду с нетерпением ждать развития этого молодого, но незаурядного дара.

Бахыт КЕНЖЕЕВ (Монреаль)

Стихи и проза Ербола Жумагулова обнаруживают несомненный и многообещающий талант. Чувствуется благотворное влияние наставника, блистательного Бахыта Кенжеева. И это наряду с собственной, уже ясно различимой интонацией.

Юлий КИМ (Москва)



СПЛОШНАЯ ГИПЕРБОЛА

Как на духу: нашел казах на камень...

Ербол Жумагулов

После Кенжеева казах, рифмующий по-русски – не новость, но данный конкретный путь – вряд ли посткенжеевская трона.

Стихи Ербола Жумагулова пришли ко мне через сеть – в этом плане его можно рассматривать, как одно из наиболее крупных моих интернет-откровений. Первое время за этим именем подозревалась на слух даже некоторого рода литературная мистификация – однако, когда несколько лет назад ловкий парень с породистым профилем кочевника, по ментальности – двоюродный внук Алдара Косе и Остапа Бендера, сделал первую вылазку до культурных столбцов, на разведку – есть ли тут ему конкуренты? – все окончательно встало на свои места. Жумагулов действительно существует, Жумагулов – это такое reality-show, с упором, впрочем, на show. Откровенно говоря, Жумагулов – это своего рода fiction.

– А через пять лет, – делится он версией, – найду в Казахстане слепого подростка-инвалида и дам в газеты легенду, что на самом деле он пишет все эти стихи, а я их покупаю и подписываю собой...

Справедливо. Стихи для него – только часть игры. Жумагулову двадцать четыре года, но его планы на жизнь, его гипотезы, его фантазмагоричные версии самого себя следовало бы издать отдельным томом, и что до меня, так я еще не уверена, не предпочла ли бы эту беллетристику собственно его стихам. Первый раз вижу

человека, столь упоенно кроющего жизнь под текст, а себя – под имидж.

Вообще (лирическое отступление), когда я слушаю эту молодежь, где двадцать три – почти диагноз, молодежь нахрапистую, наглуую, алчную до впечатлений, непочтительную к нафталиновым авторитетам, ни Бога, ни цензора не боящуюся – я порой недоумеваю, что еще делаю здесь. Уже пришло поколение, готовое нас сожрать и сменить – по беспощадному закону вечного колеса. Авансцене нужны новые лица, всегда свежая кровь.

Вообще-то Ербол Жумагулов – футболист, в прошлом – профессиональный спортсмен (это если говорить о первоосновах процесса). Стихи случились в восемнадцать лет, когда после весьма среднего школьного образования на него сошла лавина в лице господина Бродского – и зашибла его. Отметины можно лицезреть до сих пор, над чем сам Жумагулов иронизирует: «Возможно, выползу из Бродского.../Возможно, вырасту...». После Бродского он переболел Мандельштамом и Пастернаком – эти двое немного укоротили его строку, а заодно угодили в лирические герои: «вспоминаю впотьмах Мандельштама...», «как сказал бы Пастернак...». К нимбоносным фигурам Жумагулов не испытывает ни малейшего пиетета – он их использует в качестве питательной среды для своих гипербол и метафор, в качестве материала для мистификаций; потому что жумагуловская как-бы-цитатность на самом деле никакого отношения к цитатности вообще и первоисточнику в частности не имеет; он пишет – «как сказал бы» имярек, и ему глубоко безразличен тот факт, что сам по себе имярек ничего подобного в здравом уме и тверезой памяти не сказал бы ни под каким видом: он вспоминает впотьмах не Мандельштама, но свое видение его, призрак, порожденный воображением – потому что в иллюзорном мире, который он создает своим текстом, все культурные герои суть герои лирические.

Это вообще очень любопытный мир – мир его текста. Декларацию стиля можно дать следующим образом: мистификация в

формальном, подлинность в эмоциональном. Спору нет, Ербол вдохновенно наврет во всем, до чего сумеет дотянуться – лишь бы обеспечить себе лишний момент внимания, умыкнет все, что плохо литературно лежит – как без кавычек выуженное из хлебниковского кармана «крылышка» (благо нынче все грешки клеptomании можно списать на постмодерн), запутает читателя в рискованных метафорах, низвергнет с запредельной высоты гипербол, окунет в специфический жумагуловский новояз, в котором «звения, имельманирует комар», в пестроту якобы реальных (выдуманных) деталей, во всех этих псевдоказахских сартров, бродских, кенжеевых, усиленно создавая впечатление, будто бы родился, окутан плащом десяти тысяч лет цивилизации, яко Афродита – пеной морской... но все это – фикция. Настоящая литературная одаренность Жумагулова – в его искренности. Писать умеют многие, а говорить начистоту – единицы. Начиная раздеваться в тексте, он не останавливается на полдороге, он честен – безо всяких «позвольте мне остаться хотя бы в бюстгальтере»; он не только обнажается, но и выворачивает нутро – до кишок, отнюдь не пытаюсь ни оправдать самого себя, ни приукрасить. Весь – на ладони, каков есть – в объеме печатного листа. И уже с третьего-пятого текста возникает непреложное тождество с подглядыванием в кабинет рентгена через плохо прикрытую дверь... Иногда, впрочем, расчлененка прерывается, и на том же экране транслируют любовную сцену. Этичен – не этичен этот открытый психотренинг – для Ербола такой вопрос не стоит. Для него пристойно все, что касается любви, и непристойно – все, что касается ее отсутствия.

Любовь – вот мощный императив говорить. В начале, на самом краю жизни, кажется, что говоришь уже потому, что живешь, потому что любишь. Мозг не осмысливает механизма, любовь – это, впрямую, акт не-молчания. Творчество служит чувству беспрекословно, как собачка – за одно поглаживание. Но всякой духовной страсти свойственно вытеснить страсть телесную – покуда рассудок

всегда с тобой, ты можешь домыслить все неутоленное. По сути, вся лирика Жумагулова – это сублимация, это текст о физическом отсутствии любви («на улице: минус МЫ точно по Цельсию»), перебирание деталей прошлого, растревоженные язвы («...чтоб быть уверенным в том, что уже не смогу не встать/ и не плестись за тобой многоточиями следов»). Любовь дала ему увесистый пинок в поэзию, это верно, но осознание мира через любовь и поэзию – прерогатива зрелости; и вот он выкарабкивается из первой волны слов, инстинктивно чуя за спиной вторую... Так, московский цикл его стихов зримо отличается от алматинского: начинает исчезать вычурность, ходульность стиля, хотя и – не в ущерб образности. Это означает, что от сквозной эмоции он переходит к осознанному творчеству. Просто кричать от боли ему уже недостаточно – ему хочется петь.

Сюжетность этих песен, впрочем, довольно узка, фактически, Жумагулов обходится тремя лицами: я, ты, Бог. От текста к тексту повторяется это разнообразие ситуаций: я плюс-минус ты, я плюс-минус Бог. До окружающего мира Ерболу, в сущности, дела нет. У него нет сюжетных текстов, не включающих в ткань его самого, у него даже нет пейзажной лирики, как таковой – есть кое-где детали пейзажа. Есть урбанистические картинки, площади, памятники, метро, мостовые, коммунальный быт – но он скользит по всему этому ленивым взглядом, не сосредотачиваясь на мелочах, покуда у него есть дела поважней – пока ему есть, кому объясниться в любви, и есть, с кем попрепираться в небе.

И он объясняет и спорит, он плавает в словах – в этой крови мирового океана коммуникаций; он жонглирует словами, играет ими – с увлеченностью неопита или фанатика; и, несмотря на бедность интриги, точнее, несмотря на то, что все описываемое и есть – одна гиперболизированная история любви, сюжет, известный от сотворения мира – посредством его словотворческого шаманства читатель прилепляется к лирическому герою, как к родному, уже не в силах

противиться симпатии и сочувствию, и так и следует за ним – от «земли суровых саков (видимо, отчизна)» до «московского нищего неба», неба, нищего на милость, и нищенствующего, нуждающегося в освещении сумасбродной любовью. Он очень современен, этот герой, почти злободневен: потерянное, предоставленное самому себе поколение, выросшее на разломе огромной империи; менталитет дворового мальчишки, надеющегося только на свою ловкость и хватку; заблудшее дитя, тем острее нуждающееся в нежности и ласке, чем менее склонное в этом признаться; рано повзрослевший и эмоционально возмужавший поэт – скорее плут, чем мошенник, шельмец, но вряд ли негодяй, хитрец, но не всерьез аморальный тип, фантазер, циник, мистик, мистификатор; птенец мегаполиса в большей степени, чем помянутых степей, клюющий зерно любви в сетях интернета. В сущности, этим парнем мог быть каждый, но стал почему-то именно Ербол Жумагулов.

Есть такой диагноз – юношеский максимализм. Способность к обостренному, незамутненному восприятию действительности – и решительный отказ от предательства, повышенная брезгливая чувствительность к соглашательству, к тому, что называют «здравым смыслом», тогда как, в противовес, зрелость – это патологическая способность идти на компромиссы. Жумагулов явился в поэзию возвещать ряд достаточно бескомпромиссных этических установок. Казалось бы, с течением времени максимализм должен повылинять, а сам «ловец иллюзий голыми руками» – хоть немного остепениться в плане чувств, в конце концов, московское небо хоть кого научит смирению. Однако прежний, затеянный еще на заре времен, диалог продолжается: сплошной упрек – снизу, глухое молчание – сверху; и выливается в совершенно потрясающий по своей достоверности человеческий документ, цикл, который автор обозначил, как «горизонтальное», хотя это горизонтальное – нечто, наиболее вертикальное из всех горизонтальных текстов, виденных мною в жизни. Есть уровень накала спирали, на котором лампочка

перегорает и лопается, и дальше висит в своем гнезде уже мертвая; так вот, «горизонтальное», как до этого – «Окликая ангела», «Письма в настоящее» – я рассматриваю, как очередную попытку Жумагулова перегореть. Он говорит с Богом так, как будто имеет на это право, но – не выходя за пределы молитвы. Он ищет о любви с той степенью откровенности, как будто до него никто не любил столь полно и подлинно. Впрочем, я уже не первый год наблюдаю за этими сеансами прорыва в подпространство, потому и не спешу хвататься за сердце при очередном витке Ербола по спирали экзальтации духа. В конце концов, из тех же текстов понятно, что эта экзальтация вполне компенсируется хлебом телесным, и «плетли, курки, ножи» на поэтическом поприще прельщают его куда меньше, чем можно подумать по первоначальному.

Обыкновенный труд поэта – очень сизифово занятие. Дни и ночи проводишь в поиске последнего, верного слова, встающего в строку, как в обойму – для полновесно смертельного текста. С каждым текстом все понятней становится графоманский, медиумный, подчиненный аспект – до тех пор, пока из тебя не вынут эту отраву, сам ты от нее не откажешься; и все равно, в финале, за пять минут до совершенства, до завершения тебя как поэта – твой камень срывается, и сбивает тебя с ног, в грязь, в немоту; твой текст уходит в молоко, прежде чем подстрелить хоть чью-то душу. Тот самый камень, над которым афоризмирует лирический герой возле памятника Пушкину: «как на духу: нашел казах на камень...». Правда, в «горизонтальном» Жумагулов дает несколько иную трактовку своему камню: «сизифов труд – отженить от меня сумасбродство такой любви», и, таким образом, на одного казаха приходится уже два камня – страсть и творчество. И тогда конфликт с Богом воспаряет на грань безумия, становится под мерную каплю Екклесиаста: время обнимать и время уклоняться от объятий; конфликт, растущий из невозможности добиться любви и неприкрытой суицидальности, жертвенности великих поэтических судеб (потому

что на невеликую судьбу Жумагулов, понятное дело, не согласен). Будучи помещен в клещи дилеммы: одиночество (потому что «предан и нужной душой забыт») или смерть (потому что снисхождения от автора, благословения – не будет: «если даже Артур не дождался тебя всерьез», а раз совершенство недостижимо, то и жить незачем), герой на последнем голосе взывает о справедливости, о том, что в конце-то концов Бог за него в ответе – уж коли **приручил** («сколько помню себя, под напевы твои пляшу./ ничего, кроме них, не обученный замечать...»). Надо ли говорить, что – ответа нет, что камень опять срывается, опять, и несется к самому подножию горы; что пауза в конце каждого текста – это молчание спуска с так и не покоренной вершины, туда, вниз, в свою человеческую беспомощность, за этим дьявольским камнем, который испокон веков если не в любви, то в поэзии так и не бывал водружен на пик, а те, кто добирались до наивысших возможных точек, все равно гибли при невыясненных обстоятельствах... Изодранные ладони горят, и в предплечьях – мускульная дрожь, но ты уже опять оглаживаешь шершавый бок валуна.

Вот поэтому на страшную просьбу «я устал и хочу молчать» сверху все нет ответа; вот поэтому в саркастическом карандашном наброске «серыедвадцать» герой – очень точный портрет нашего персонажа – замирает перед зеркалом в попытке увидеть себя самого, надеясь разглядеть в стеклянной поверхности хоть легкий отблеск невозможно достижимого, мечты, которой нет утolenия, пути, которому нет финала ...

«В свои серые двадцать – ты куришь по пачке в сутки,
пьешь мартини а-ля «Dominic Escart» на долги «до марта»,
пишешь письма в Париж дешевающей проститутке,
называя себя то кайсацким Рембо, то Сартром.

Ты не спишь над романом, вполне тяготея к пьесам,
публикуешь стихи за бесценок в журналах моды,
ждешь любовь-эмигрантку, и бредишь саксонским лесом,
ибо в нем, по тебе, и заложена суть природы.

В свои серые двадцать ты знаешь о том, что нечем
исцелиться от жизни – только лишь тем, что смертен;
оттого ты и болен...

Это страстное желание бесконечности – непомерно завышенная жажда жизни, любви, слова, бессмертия – помещено в хрупкий сосуд человеческого тела. Бабочка появится, только если куколка лопнет по швам.

...именно это приходит в голову в серые мои двадцать,
и опаздывая на сорок жизней, жертвуя бизнес-ланчем
(мысли пускают какие-то корни, но, кажется, не плодятся),
я стою, цепеня, у зеркала. Тихо плачу.

Да, стихи для Жумагулова – это часть большой игры, но игра идет не по-детски. Вот они, граничные условия задачи: есть камень, есть казах, есть рычаг; с помощью которого он собирается перевернуть землю – его стихи. Изначально известно, что камень поднять нельзя – и, тем не менее, порожденная человеческой волей и всеми доступными средствами: любовью, которой он намерен удивить мир, именем, которое он сам себе создает, и протяженными текстами, похожими на многосерийный вздох – вдоль камня, надекая поверхность, проходит по касательной сплошная гипербола Жумагулова.

Илона ЯКИМОВА
Санкт-Петербург
12.02.2005

СЕРЫЕ ДВАДЦАТЬ

Мое детство сгорбилось рядом со мной.

Джойс

«В свои серые двадцать – ты куришь по пачке в сутки,
пьешь мартини а-ля «Dominic Escart» на долги «до марта»,
пишешь письма в Париж дешевающей проститутке,
называя себя то кайсацким Рембо, то Сартром.

Ты не спишь над романом, вполне тяготея к пьесам,
публикуешь стихи за бесценок в журналах моды,
ждешь любовь-эмигрантку, и бредишь саксонским лесом,
ибо в нем, по тебе, и заложена суть природы.

В свои серые двадцать ты знаешь о том, что нечем
исцелиться от жизни – только лишь тем, что смертен;
оттого ты и болен, вернее, ты искалечен –
беспольностью, временем, горечью тех отметин,

чей безудержной тягой к памяти переполнен
каждый вдох твой и выдох пространства (не перебитой,
как ни странно, пока остается посуда), – и долгим полднем
повторяешь «vita intorno – malattia... vita intorno...vita*...» –

* Жизнь вокруг – болезнь (итал.)

В свои серые двадцать ты грустен за всех живущих,
и – маэстро прощаний (и искренен, и не робок),
ты привык уже, друг... ты из тех, чьи больные души
слишком рано лишились и пуговиц, и заклепок...

Успокойся, твой гений действительно слеп, но верен
ливню за окнами, гибким его и холодным спицам...
Одевайся, тебе пора к надоевшим «недо-» и «пере-»...
Будь сильнее. Иди. Постарайся не возвратиться», –

именно это приходит в голову в серые мои двадцать,
и опаздывая на сорок жизней, жертвуя бизнес-ланчем
(мысли пускают какие-то корни, но, кажется, не плодятся),
я стою, цепenea, у зеркала. Тихо плачу.

Театр печали (2001)

ДАМА с @

В тихой комнате рассудочного бреда
(небо кончилось эмалью потолочной)
торопливо тлеет сигарета,
как и я – от жизни неурочной.
Льется осень долгих не-свиданий:
мы уже, похоже, одичали,
пустоту прокуренную раня
сумасшедшим лезвием печали.
Льется осень высланных эпистол
в нераспахнутые окна аутлуков...
... тридцать пять... сто восемьдесят... триста...
сколько их меж нами за разлуку
накопилось, милая? И что ни
говори, болезным и ознобным,
я еще умру в твоей ладони
даже слишком ангелоподобным,
и шепну, что хоть мы и простились,
души не колеблются от боли...
В комнате готического стиля –
скоро вечер: двадцать два ноль ноль и
сумерки вплывут сюда прилежно
близорукой вечностью недлинной,
голос мой, простуженный и нежный,
перебив фальшивой мандолиной...

* * *

Я живу. Это чувствуется. Как камень
у Христа не за пазухой, но в кармане,

то есть, сжавшись в один напряженный мускул,
чтобы впредь никому не давалось спуску;

и почти ощущая свою эпоху,
я блюю словами и – реже – вздохом,

но таким глубоким, что матом – легче...
Только я ли просил этот крест на плечи?

* * *

Илоне Якимовой, Галине Давыдовой

мы вросли в это время словом крыльями плавниками
сі сетега мы чувствуем запахи звуки и их длинноты
умирая на ощупь любя всеми силами болью сердечных камер
цепкой памятью вздохами порами выкриками рывками
но растет ощущение вынужденной немоты

день придет и закружатся медленные над нами
девять грустных теней мы их плавный полет оценим
и когда нас отсюда вперед понесут ногами
мы вращаем в это время и нимбы над головами
покачнутся слегка и сольются с бемолем осенним

* * *

Мы меняем ландшафты, любимая, но обручальные кольца
оставляем на пальцах – для памяти «о» и надежных
улыбок «после»...

А теперь уходи... уходи, дорогая! Вернее сказать, уволься
из моих вечеров: утомленной, уже безвозвратной
и взрослой...

Режиссируй судьбу, опьяненную музу за длинный
подол лоя,
различай пустоту между «рано» и «вовремя», между
«не к месту» и «поздно»,
но уже без меня – высыхающий грим на лице говорит,
что сегодня я –
мотылек с невредимыми крыльями, но опаленным мозгом.

Я останусь (в мышшиной, уставшей от собственных снов, толпе)
продолжаться, и, кроме смерти, уже ни во что не веря,
чтобы в последний, миртовый сумрак что-нибудь не допе...
и расслабить дрожащие легкие, тихо впуская время.

Оликая ангела (2001)

* * *

Иногда – временами, секундами, сутками, жизнями,
вечностью – вешая всю вину
на случайности, злясь на прерванный доступ к сети
(перегруженна, то есть, почтой),
я жалею о будущих снах, дезертирую, нет, пытаюсь
впотьмах эмигрировать в тишину
своего откровения перед временем, зная которое,
я догадываюсь о том, что

когда Господи молча оправится самым последним
дождем на твердую грудь земли;
бородатый художник изгадит мольберты ожогами
всех неземных пейзажей;
удивленный араб, подлетая, поймет, что авиалайнер
напрасен, а Пентагон снесли;
загорелая фотозадница шлюхи с обложки не вызовет
токов и эпатажей.

Лувр опустеет, да Винчи с Ван Гогом пойдут с молотка
за шершавую горсть юаней;
теребя смолянистый хайер, подросток не свяжет двух слов,
чтобы сказать «простите»;

на гробах будут гордо сверкать золотые шприцы,
а по радио утром ранним
ровный голос расскажет о том, что вернулась осень,
но не на Крите; –

обнаружится «завтра», в котором не будет счастья и
радости вдругорядь; –
только листы арестантов Народных фронтов
с их чернеющими плакатами –
сомневаясь лишь в том, что есть еще вещи,
которые можно не потерять,
мы, конечно, останемся вместе... только опять
по разные стороны полосы экватора...

* * *

Здравствуй, котенок. Время позднее. Всюду – ночь.
И особенно – в коридорах.
Я отправил тебе «электронку» о долгой любви
и привычной скуке.
Почитай его. И ответь. Знаешь, в последнее
время ночь удлинилась, впору
покупать димедрол, и стараться не думать о двух
с половиной годах разлуки.

Но, увы, полагаю, не-можно не думать...
И снятся под утро строки
на чужих, непонятных наречьях (насколько я нужен
такому веку –
я не знаю), и с этой – болезненной, одинокой, увы, дороги
мне, пожалуй, уже не свернуть, как поэту и чело... Реку

никому не придумать без берегов, утопленников,
правильного течения –
так и я невозможен без крыльев, печали, тяги:
к твоим ладоням,
волосу, шепоту, шелесту губ... ко всему, говоря откровенно,
чем я
был и есть всю разлуку полон; скоро вечность,
как имя твое – синоним

моего ожидания, сон мой, явь... Мы увидимся, правда? Скоро?
Сколько песен случайных возникнет пустующего у стула
моего напротив? Глупо гадать. Я сижу без ответа.

В гортани у коридора –
ночь. Ты уснула, любимая? Три пятнадцать.

Видимо, да, уснула...